



Л.В.Поляков

ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

Мусихин Г.И. Очерки теории идеологии. —
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 288 с.

Ключевые слова: идеология, политическая теория, либерализм, социализм, консерватизм, популизм

Книга Глеба Мусихина из тех, о которых стоит (а потому — и хочется) говорить не только с точки зрения обработанных автором смыслов, но и с точки зрения чисто эстетического созерцания. Книга настолько структурно продумана, ее архитектоника настолько прозрачна, что при чтении создается почти физическое ощущение движения по тщательно выстроенному автором логическому маршруту.

Эта логическая наглядность книги элегантно дополняется эпистемологической скромностью автора, предпочитающего работать в жанре всего лишь «очерков», без претензии на создание универсальной теории как *in sui generis* томистской «суммы идеологии». Таких очерков в книге десять, и они структурированы в три самостоятельных блока. Первый блок, естественно, посвящен методологии. Второй представляет теоретический анализ четырех ведущих *современных* идеологий: либерализма, социализма, консерватизма и популизма. Третий помещает изучаемый феномен в контексты власти, истории, культуры и экономики. Данная структура позволяет в конечном счете получить совокупный очерк той искомой общей (как бы общеобязательной) теории, которая пока еще никем не написана, но пребывает, так сказать, в рассеянии — во многих современных (главным образом западных) текстах.

На основе сказанного выше может возникнуть впечатление, будто Мусихин предлагает читателю своего рода реферат, в лучшем случае — аналитический обзор современного состояния такой предметной области политической науки, как теория идеологии. Спешу развеять законные опасения: автор работает не как референт и не как обозреватель (что, впрочем, тоже вполне достойный и востребованный труд, выполняемый еще со времен АН СССР сотрудниками ИНИОНа). Он работает как теоретик, то есть в известном смысле как соавтор всех тех, кто указан в обширном списке приведенной в конце книги библиографии. Его работа — сортирование, сравнение, сталкивание, отбор концепций, отражающих всевозможные значения понятия «идеология», — на выходе дает тот самый результат, когда сумма оказывается больше своих частей.

В первом — методологическом — блоке ставятся два ключевых вопроса: что именно должно пониматься в качестве предмета теории и как этот предмет может/должен изучаться? И тут, казалось бы, мы сразу

попадаем в тупик: можно ли начинать книгу с ответа на вопрос, что такое идеология, если таким ответом и должна стать сама эта книга? И неужели же автор этого не замечает?

Замечает, но находит возможность завести разговор о «самой неуловимой» (согласно одному из цитируемых авторов) концепции во всей социальной науке (с. 7) в терминах принципиальной деидеологизации. По мнению Мусихина, основная проблема при выстраивании теории идеологии заключается как раз в том, что долгое время (практически до конца XX в.) сами подходы к анализу данного феномена оказывались неизбежно идеологизированными.

В частности, этому способствовала поляризация мира времен холодной войны, ставившая западную — *либеральную* — политическую теорию в заведомо ангажированное положение. Идеология — вполне в духе марксистской традиции — третировалась как нечто изначально недоброкачественное и подозрительное, то, что нужно не столько изучать, сколько *разоблачать*. Потому-то Мусихин и решается утверждать, что «теоретическое систематическое изучение идеологий до сих пор остается вызовом для политической теории» (с. 10). И предлагает начать такое систематическое изучение со смены исследовательских регистров, а именно с постановки вопроса о *ценностной* природе идеологии не в качестве повода для обличения/уличения, а в качестве точки входа в неустранимо идеологизированное пространство политического.

Признание онтологического статуса идей в политическом мире превращает последний в постоянно меняющийся калейдоскоп идейно мотивированных акций, совершая которые акторы одновременно и интерпретируют мир, и самоопределяют себя. И если *идеи* являются индивидуальными интерпретациями, то *идеологии* можно охарактеризовать как «*интерпретационные рамки*, которые возникают в ходе практического воплощения идей в язык политических понятий» (с. 12).

И хотя в таком выходе из обозначенного выше тупика можно продолжать искать тайный идеологический подтекст (в советские времена он был бы автоматически определен как «буржуазный объективизм»), все же нельзя не признать, что Мусихину удается запустить логический «двигатель» всего дальнейшего исследования. «Рамочный» подход означает, что, помимо рассуждений об идеологии в терминах «истина—ложь» либо «подлинное—кажущееся», есть еще как минимум третий путь. И, идя по нему, следует разгадывать идеологию как самовоспроизводящийся оксюморон: как логику по-разному аранжированных, но все равно хорошо темперированных аффектов, которая и задает идеологический спектр Современности.

Впрочем, до перехода к данному спектру Мусихин предлагает совместно подумать над не менее важным вопросом: как можно исследовать такое парадоксальное сочетание логики и аффекта, не разрушая (даже аналитически) это невозможное единство? Опираясь на собственную статью еще 2008 г.¹, он провозглашает лозунг столетней давности:

¹ Мусихин Г.И.
2008. Красота спасет мир? Идеология как эстетика // Полис. № 4.

«Назад к Канту!». Но в чем же Иммануил Кант может помочь при выборе адекватной методологии анализа идеологии? Согласно Мусихину, кантовский взгляд на природу эстетического созерцания, развитый в «Критике способности суждения», вполне продуктивен, если последовательно оставаться на позиции «рамочного» подхода.

Что, собственно, открыл Кант, анализируя суждения о прекрасном и возвышенном? Некие эстетические *a priori*, то есть подспудную универсальность вкусовых оценок, не связанную ни с конкретным эстетическим объектом, ни с конкретным его ценителем. Эта универсальность, квалифицируемая как «общее чувство» (*sensus communis*), позволяет всем и каждому как субъектам эстетического опыта свободно-принудительным образом согласовывать свои суждения о том, что является «прекрасным» — в отличие от «безобразного». И что является «возвышенным» — в отличие от «низменного».

Это *sensus communis* и есть то, что для идеологии составляет «рамки», включающие как индивида, так и социальные группы в определенным образом кодированное смысловое (то есть логико-аффективное) поле. Понятно, что Кант писал об общечеловеческих эстетических *a priori*, а идеологии неизбежно фрагментируют таковые на (в лучшем случае) общенациональные². Но важен не объем контента, а методологический изоморфизм, продуктивность которого хорошо показана на примере переноса темы «возвышенного» из эстетики в политику.

Если идеология есть своего рода вера, придающая каждому ее носителю убежденность в естественности собственного мировосприятия, поскольку все остальные (имплицитно — «наши») видят то же и так же, то она тем самым задает «символический порядок». Внутри этого порядка имеется четкая разметка «возвышенного» и «низкого», и сублимация осуществляется с помощью политического лидерства. Идеологический вождь как бы насыщает политическое пространство масками-маркерами, ретранслируя и многократно усиливая базовые идеологические *a priori*.

Прагматический смысл подобного аналитического подхода, как представляется, прекрасно иллюстрирует макиавеллиевский Государь. Он только потому «возвышен», что носит правильную маску. Но это бессознательно-рефлексивный карнавал, который не скрывает, а выставляет во всей циничной наготе природу власти как господства, в которое инвестируют свои субидеологические (инфраструктурно конгруэнтные) ожидания те, чья роль в этом карнавале — носить маски подчиненных.

На деле это, конечно, квазирефлексия, поскольку идеология работает не как последовательная аналитика повседневного социально-политического опыта, а как технология внушения через те самые кантовские априорные формы чувственного созерцания и рассудка. «Имена-маркеры» и есть эти формы, «конструирующие смысл политической реальности» (с. 40). Они и есть «возвышенные объекты» чистого,

² Что, впрочем, никак не отменяет внимательно отслеживаемых Мусихиным претензий либеральной демократии на общечеловеческий статус и монопольный гегемоницизм.

и.е. на поверхности (да и в глубине!) никак не заинтересованного, эстетического/идеологического наслаждения.

Однако это наслаждение доступно только кругу «своих», находящихся в одних и тех же идеологических рамках. У чужих оно может вызывать скорее отвращение. И в этом, справедливо отмечает Мусихин, состоит отличие идеологического деления «свой—чужой» от политической дихотомии Карла Шмитта «друг—враг». Последняя не содержательна, а структурна. В ней нет того, что составляет *differentia specifica* идеологии как таковой, — нет эффекта.

В методологический арсенал теоретического исследования идеологии Мусихин предлагает включить и дискурсивный анализ. Это обусловлено помимо всего прочего необходимостью понимания того, как идеологии работают на субколлективном (персональном) уровне, ибо «идеологический дискурс всегда личностно и контекстуально вариативен» (с. 59).

Ценно то, что, обращаясь к дискурс-анализу как к наиболее адекватному (наряду с кантовской критикой «способности суждения») методу теоретизирования об идеологии, автор вовсе не выказывает какого-либо методологического триумфализма. Напротив, он демонстрирует необходимую теоретическую рефлексивность, четко обозначая проблемы, возникающие в процессе применения этого метода.

Таковых в основном три. Первая, квалифицируемая как «преднамеренность», заключается в том, что «сложно со стопроцентной уверенностью утверждать, что использование тех или иных речевых конструкций носит характер идеологической ангажированности, а не было автономным свойством литературного стиля» (с. 64). Вторая проблема — сложность собственно идеологического толкования конкретного дискурса, то есть различия дискурса пусть непреднамеренно, но все равно идеологического от дискурса в принципе неидеологического. В обоих случаях, как считает автор, спасает обращение к контексту и работа с контекстуальными ситуативными и субъективными ментальными моделями. Ведь поскольку сами «люди понимают дискурс, если способны сконструировать его модель» (с. 54), то исследователю тем более надлежит понимать, как происходит само это конструирование в определенном контексте.

Третья проблема возвращает нас отчасти к кантовской теме некоторого «общего знания» как когнитивного а priori. Здесь снова возникает вроде бы отмененный сюжет противостояния «истинного» и «ложного», но на самом деле речь о другом. «Истинное» для того или иного сообщества по определению релятивно и при этом не поддается идеологизации — по крайней мере, внутри данного сообщества. Анализ этой проблемы позволяет Мусихину сделать еще одно важное (как и в случае со Шмиттом) уточнение: «манхеймовская логика разделения идеологий и утопий в дискурсивном анализе не работает». Идеологические дискурсы ориентированы на групповое самосознание и интерактивное

взаимодействие с другими группами, ориентация на переустройство мира или охранение последнего носит здесь частный характер» (с. 69).

Второй структурный блок «Очерков» предсказуемо открываетя анализом либерализма. И это вполне оправданно, поскольку либерализм — не только исторически первая идеология Современности, но еще и претендент на (пост)идеологическую гегемонию (хотя бы в смысле фукуяmovского «конца истории»). Последнее обстоятельство неизбежно обыгрывается уже в основной дилемме, перед которой стоит современный либерализм: «возможен ли плюрализм ценностей в политике и как такой плюрализм согласуется с правовым универсализмом либеральной свободы?» (с. 74).

Другое важное «оправдание» такого начала заключается, по моему, в том, что либерализм как идеология оказывается в максимальной степени теоретичным. И, будучи сформулирован в ключевых своих принципах еще европейскими мыслителями XVII—XIX вв., в XX столетии и особенно сегодня он, по сути, превращается в изощренную интеллектуальную дискуссию, имеющую, впрочем, прямые выходы на вполне актуальные и крайне острые политические ситуации. В западном обществе в первую очередь, да и в глобальном сообществе в целом.

Следя за разнообразными поворотами этой дискуссии, Мусихин не упускает из вида упомянутую дилемму — с тем чтобы в итоге назвать ее «ложной». Подобная оценка обусловлена тем, что на *нынешнем* этапе результатом рассматриваемой либеральной дискуссии оказывается формула: «*либеральный плюрализм, строящийся на императиве индивидуальной автономии*» (с. 101). В этой вроде бы преодолевающей дилемму формуле содержится упование на то, что на самом деле для либерализма крайние точки дилеммы — это не расходящиеся противоположности, подразумевающие выбор «либо—либо», а взаимоуравновешивающие полюса, подтверждающие внутреннюю целостность доктрины.

Уточняя природу чаемого баланса, Мусихин пишет: «Подлинный ценностный плюрализм и толерантность современная либеральная политическая теория видит в *примате индивидуальной автономии* и в наличии некоторого пространства для коллективных ценностей, не всегда соответствующих принципам конституционного либерализма, хотя *качество этого пространства остается для либерализма зоной неизвестности*» (с. 101—102). В этой констатации важно и значимо буквально все.

Во-первых, в очередной раз подтвержденная претензия либеральной, а следовательно — идеологической политической теории на статус именно «теории». Во-вторых, явно идеологическое же различие «подлинного» и «неподлинного» плюрализма. А в-третьих (*last but not least!*), исключительно своевременное признание того, что допускаемая среди прочих ценностей некая «коллективность» остается неопознанным (следовательно — опасным) объектом. Тем самым образуется

замкнутый (не хочется говорить — порочный) круг: либерализм как идеология старается найти чисто теоретическое снятие исходной дилеммы, в то время как либерализм в качестве теории вновь и вновь возвращает ее в поле идеологической борьбы.

Такую же «дилеммную» стратегию избирает Мусихин и для презентации современного состояния консерватизма как политической идеологии. Подхватывая давнюю полемическую реплику Юргена Хабермаса о постмодернистах как «младоконсерваторах», он ставит этот вопрос абсолютно всерьез. И, надо признать, совершенно справедливо.

Основанием для постановки вопроса не просто о сходстве консерватизма и постмодернизма, но даже об их сущностном тождестве является характерная для обоих сверхкритичность в отношении классического просвещенческого рационализма. Однако в этом сближении таится подвох, компрометирующий не столько постмодернистов, сколько в первую очередь консерваторов. Их критика одновременно и рационалистического Модерна, и постмодернистского «иррационализма» вынуждает задуматься: *«а не имеет ли место кризис идеологической самоидентификации консерватизма?»* (с. 111). И поскольку консервативная критика постмодернистского отказа от Grand Narrative есть, по сути, не что иное, как реабилитация рационалистического идеала Пропаганды, то, по мнению Мусихина, можно «констатировать тяжелую форму „идеологической шизофрении“ современной консервативной мысли» (с. 111).

Воссоздав эту интеллектуальную драму современного консерватизма, автор скрупулезно анализирует возможные варианты ее разрешения, предлагаемые как самими ведущими консервативными авторами (Лео Штраусом, Майклом Оукшоттом, Роджером Скрутоном, Ирвингом Кристолом), так и исследователями консервативной мысли. Его вывод таков: консерваторов и постмодернистов сближают теоретические позиции, но разделяют политические установки. Вместе с тем Мусихин, похоже, полагает, что последующее развитие приведет скорее к их дальнейшему сближению, нежели к разрыву: «Наверное, время для глубокого синтеза консерватизма и постмодернизма еще не настало. Это не означает, что подобный синтез невозможен в принципе...» (с. 131). Рискованный, но обоснованный прогноз!

Теоретические приключения современного социализма как политической идеологии автор описывает не менее интригующе. Доминирующая тема этого раздела книги — утопия как теоретико-идеологический конструкт, единственно способный придать современной левой мысли энергетику преодоления всеядной логики позднего капитализма. Здесь стоит отметить (хотя сам автор этого специально не фиксирует), что возврат от Марксова социализма как науки к социализму как утопии может свидетельствовать если не о все той же «идеологической шизофрении», то об «идеологической паранойе». Причем почти в буквальном смысле.

Дело в том, что попытка построить логику радикального отказа от позднего (напрашивается — «победившего») капитализма — будь то

в варианте «радикальной демократии» Эрнесто Лаклау с его «дискурсивными войнами» или в варианте «радикальной утопии» Фредрика Джеймисона с его трансгоризонтным полаганием «будущего» как радикально иного — неизбежно ведет левую мысль по пути «возле смысла». То есть по пути той самой *идеологизации*, на которую было наложено самое суровое табу еще в «Немецкой идеологии».

Необходимость утопического выхода из капиталистического контекста неизбежно требует дезинтеграции самого субъекта, его, так сказать, ментальной перекодировки³. В данном случае утопия выступает (по Славою Жижеку) «конституирующей тревожностью», позволяющей как бы переместить перекодированный субъект во внекапиталистическое пространство. В итоге идеологический посыл современных левых сводится к тому, что «вместо критического дискурса как отрицания по отношению к действительности формируется дискурс отсутствия как отрицания» (с. 150).

³ Любопытно, что, отдавая дань уважения Карлу Марксу, практически все сколько-нибудь значимые левые теоретики фактически занимаются тем, что можно назвать обратным переворачиванием теории с ног на голову. Потому что ключевым поступатом современной левой идеологии является: «Сознание определяет бытие».

Освободившееся в результате ухода левых место в идеологическом пространстве позднего капитализма заполняет набирающий политические очки популизм. Магия этого феномена настолько велика, что Мусихин отказывается от включения в «большую четверку идеологий» национализма, еще недавно бывшего ее неизменным членом. По его мнению, «необходимо преодолеть интуитивное отождествление популизма с задворками политического мейнстрима, ибо в настоящее время популизм все больше и больше превращается именно в этот политический мейнстрим даже в странах развитой либеральной демократии» (с. 154).

Самое главное в этом разделе — тонкий перевод казалось бы протеистически неопределенной сущности популизма в плоскость вполне рациональной теории. Это достигается опять-таки с помощью обнаружения внутреннего драйвера — дилеммы «элита—народ», а также анализа ключевых для этой идеологии понятий «народ» и «народный суверенитет». В результате работы с этими понятиями Мусихин выделяет то, что он обозначает как концептуальное ядро популизма. Наличие такого ядра позволяет защитить популизм от обвинений в «идеологическом промискуите». Ведь хотя популизм подобен вирусу, ибо он «добавляет себя» к другим идеологиям, определенные пределы совместимости здесь все же есть. В частности, «очевидный антиэлитизм не позволяет популизму идти на использование идей и позиций, ассоциирующихся с истеблишментом» (с. 167).

Ключевой характеристикой популизма как политической идеологии Мусихин считает его «фрагментарность», обусловленную тем, что он «не обладает механизмом перевода идеологических принципов в пункты конкретного политического проекта» (с. 166). Валидность такого определения популизма автор предлагает проверить на примере КПРФ, «уникальность» которой объявляется «загадкой» на с. 168, но получает разгадку в сноске 12 на с. 183, где автор высказывает гипотезу о том, что российские коммунисты «из носителей социализма как универсальной идеологии превратились в приверженцев популизма как

идеологии фрагментарной». Но похоже, что сдержанность автора — это не только проявление научной корректности. Несмотря на убедительность авторского анализа феномена популизма, его определение в качестве идеологии *фрагментарной* оставляет ощущение некоей лингвистической неловкости. Особенно на фоне аналогии с вирусом...

Заключительный раздел книги, в котором идеология помещается в контексты власти, истории, культуры и экономики, представляет собой не менее увлекательное чтение, в ходе которого возникают сюжеты, дополняющие, в частности, проведенный ранее анализ большой идеологической «четверки». Так, рассматривая идеологию в контексте власти, Мусихин находит возможным говорить (хотя и в кавычках) о своем рода пятом типе идеологии — «идеологии государственной» (с. 191). Однако ввиду ограниченного объема рецензии я не буду на этом подробно останавливаться, перейдя к общей оценке книги.

«Очерки» Мусихина, вне сомнения, являются рубежными для проблемного поля исследования идеологии в отечественной политической науке. Разумеется, наука не имеет национальных границ. Тем не менее в рамках условного домена «ideologia.ru» эта книга на данный момент обладает всеми признаками того, что передается термином *benchmarking*. Отныне ни одно исследование идеологии на русском (по крайней мере) языке, не продвигающее эту тему выше уровня, заданного Мусихиным, просто не сможет быть квалифицировано как собственно научное.

Это не значит, что Мусихин «закрыл тему». Напротив, он в каком-то смысле «открыл» ее — открыв перспективы работы с идеологической проблематикой без того, чтобы впасть в анахронизм или провинциализм. Ориентируясь на уже изобретенные «велосипеды», вкусно описанные автором, можно и нужно идти дальше — особенно в направлении прикладного анализа современных российских идеологий. На этом основании можно было бы завершить эту по необходимости *обзорную* рецензию фразой: «Очень своевременная книга», — если бы она уже однажды не была произнесена величайшим идеологом всех времен и народов (без кавычек и без иронии) в отношении классического идеологического текста пролетарской эстетики. Впрочем, почему бы и нет — памятую о нетривиальном заходе на проблему «идеологического» посредством кантовской теории эстетики?!